

ГИ ДЕ МОПАССАН

ЖИЗНЬ

Часть сборника: Милый друг. Жизнь. Новеллы

Эксклюзивная классика (АСТ)

Ги д. Мопассан

Жизнь

«Public Domain»

1883

УДК 821.133.1-31
ББК 84(4Фра)-44

Мопассан Г. д.

Жизнь / Г. д. Мопассан — «Public Domain»,
1883 — (Эксклюзивная классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-101566-4

Роман, после выхода которого Тургенев назвал Мопассана «бесспорно, самым талантливым из всех современных французских писателей». День за днем, год за годом разворачивается перед нами жизнь красавицы Жанны, дочери барона, – любовь, счастье первых лет замужества, боль от неверности мужа, материнство, вдовство, старость... Эта гениальная в своей простоте книга завораживает читателя глубиной проникновения в женскую душу, яркостью реалистичного, бесстрастного, а порой беспощадного авторского взгляда на извечное «бремя страстей человеческих».

УДК 821.133.1-31

ББК 84(4Фра)-44

ISBN 978-5-17-101566-4

© Мопассан Г. д., 1883

© Public Domain, 1883

Содержание

I	6
II	15
III	19
IV	28
V	38
Конец ознакомительного фрагмента.	39

Ги де Мопассан

Жизнь

*Госпоже Бренн дань уважения преданного друга и в память о друге
умершем.*

Ги де Мопассан. «Скромная истина»

© Издание на русском языке AST Publishers, 2017

I

Уложив чемоданы, Жанна подошла к окну; дождь не переставал.

Всю ночь стекла звенели и по крышам стучал ливень. Нависшее, отягченное водою небо словно прорвалось, изливаясь на землю, превращая ее в кашу, растворяя, как сахар. Порывы ветра дышали тяжким зноем. Рокот разлившихся ручьев наполнял пустынные улицы; дома, как губки, впитывали в себя сырость, проникавшую внутрь и проступавшую испариной на стенах, от подвалов до чердаков.

Выйдя накануне из монастыря и оставив его навсегда, Жанна жаждала наконец приобщиться ко всем радостям жизни, о которых так давно мечтала; она опасалась, что отец будет колебаться с отъездом, если погода не прояснится, и в сотый раз за это утро пылливо осматривала горизонт.

Затем она заметила, что забыла положить в дорожную сумку свой календарь. Она сняла со стены листок картона, разграфленный на месяцы, с золотой цифрой текущего 1819 года в виньетке. Она вычеркнула карандашом четыре первых столбца, заштриховывая все имена святых вплоть до 2 мая – дня своего выхода из монастыря.

Раздался голос за дверью:

– Жанетта!

Жанна ответила:

– Войди, папа.

И в комнату вошел ее отец.

Барон Симон Жак Ле Пертюи де Во был дворянином прошлого столетия, чудаковатым и добрым. Восторженный последователь Жана Жака Руссо, он питал нежность влюбленного к природе, лесам, полям и животным.

Аристократ по рождению, он инстинктивно ненавидел девяносто третий год; но, философ по темпераменту и либерал по воспитанию, он проклинал тиранию с безобидной и риторической ненавистью.

Его великой силой и великой слабостью была доброта, такая доброта, которой не хватало рук, чтобы ласкать, раздавать, обнимать, – доброта творца, беспорядочная и безудержная, подобная какому-то омертвлению волевого нерва, недостатку энергии, почти пороку.

Человек теории, он придумал целый план воспитания своей дочери, желая сделать ее счастливой, доброй, прямодушной и нежной.

До двенадцати лет она жила дома, а потом, несмотря на слезы матери, была отдана в монастырь Сакре-Кёр.

Там отец держал ее в строгом заключении, взаперти, в неизвестности и в полном неведении дел людских. Он желал, чтобы она возвратилась к нему семнадцатилетней целомудренной девушкой, и собирался затем сам погрузить ее в источник поэзии разумного, раскрыть ей душу и вывести из неведения путем созерцания наивной любви, простых ласк животных, ясных законов жизни.

Теперь она вышла из монастыря сияющая, полная сил и жажды счастья, готовая ко всем радостям, ко всем прелестным случайностям жизни, которые представлялись ее воображению в дни праздности, в долгие ночи.

Она походила на портрет Веронезе своими блестящими белокурыми волосами, как бы обесцветившимися на ее коже, аристократической, чуть розоватой коже, оттененной легким пушком, который напоминал бледный бархат и был чуть заметен под ласкою солнца. Глаза Жанны были синие, той темной синевы, какую отличаются глаза голландских фаянсовых фигурок.

Около левой ноздри у нее была маленькая родинка; другая была справа на подбородке, где вилось несколько волосков, до того подхлывших к цвету ее кожи, что их с трудом можно было различить. Она была высокого роста, с развитой грудью и гибкой талией. Ее чистый голос казался иногда чересчур резким, но искренний смех разливал кругом нее радость. Нередко привычным движением она подносила руки к вискам, как бы желая пригладить прическу.

Она подбежала к отцу, обняла его и поцеловала.

– Ну что же, едем? – спросила она.

Он улыбнулся, тряхнул довольно длинными, уже седыми волосами и протянул руку к окошку:

– Неужели тебе хочется отправиться в путь в такую погоду?

Но она молила его ласково и нежно:

– Поедем, прошу тебя, папа. После полудня погода разгуляется.

– Но мама ни за что не согласится.

– Согласится, обещаю; я беру это на себя.

– Если тебе удастся ее уговорить, я не возражаю.

И она стремглав бросилась в комнату баронессы.

Ведь этого дня отъезда она ждала со все возрастающим нетерпением.

С минуты поступления в Сакре-Кёр она не покидала Руана, потому что отец не разрешал ей никаких развлечений раньше установленного им срока. Только два раза возили ее на две недели в Париж, но это был опять-таки город, а она мечтала лишь о деревне.

Теперь ей предстояло провести лето в их поместье «Тополя», в старом фамильном замке, стоявшем на скалистом побережье близ Ипора, и свободная жизнь на берегу моря сулила ей бесконечные радости. Кроме того, было решено подарить ей этот замок, чтобы она постоянно жила в нем, когда выйдет замуж.

Дождь, ливший непрерывно со вчерашнего вечера, был первым большим горем в ее жизни.

Но через три минуты она выбежала из комнаты матери, крича на весь дом:

– Папа, папа! Мама согласна; вели запрягать.

Ливень не прекращался; он даже, пожалуй, усилился, чуть только карета подъехала к крыльцу.

Жанна собиралась уже сесть в экипаж, когда с лестницы спустилась баронесса, поддерживаемая с одной стороны мужем, а с другой – рослою горничной, хорошо сложенной и сильной, как парень. Это была нормандка из Ко; на вид ей можно было дать по меньшей мере двадцать лет, а ей еще только что минуло восемнадцать. В семье барона с ней обращались почти как со второй дочерью, потому что она была молочной сестрой Жанны. Ее звали Розали.

Главная обязанность Розали состояла в уходе за ее госпожой, непомерно располневшей за последние годы из-за расширения сердца, на которое она постоянно жаловалась.

Баронесса, сильно задыхаясь, сошла на крыльцо старого особняка, взглянула на двор, по которому стремительно текла вода, и заметила:

– Право же, это неразумно.

Муж, по обыкновению улыбаясь, ответил:

– Но ведь вы так пожелали, мадам Аделаида.

Баронесса носила пышное имя Аделаиды, и муж прибавлял к нему всегда «мадам» с оттенком чуть насмешливого уважения.

Она снова двинулась вперед и с трудом поднялась в экипаж, рессоры которого сразу осели. Барон поместился рядом с нею, а Жанна и Розали усадились на скамейке напротив.

Вслед за ворохом накидок – отъезжающие прикрыли ими себе колени – кухарка Людивина принесла две корзины и поставила их в ногах; затем она вскарабкалась на козлы рядом с дядей Симоном и укуталась большим пледом, совершенно ее закрывшим. Привратник с женою

подошли проститься, захлопнули дверцу кареты и получили последние приказания по поводу багажа, который надлежало отправить следом на тележке; после этого тронулись в путь.

Кучер, дядя Симон, понутив голову и горбясь под дождем, совсем исчез в своей ливрее с тройным воротником. Порывы ветра со стоном бились в стекла и заливали дорогу потоками воды.

Карета, запряженная парой лошадей, быстро спустилась к набережной и поехала вдоль ряда больших судов, мачты, реи и снасти которых печально поднимались, словно оголенные деревья, в изливавшееся ручьями небо; затем она выехала на длинный бульвар горы Рибуде.

Вскоре дорога пошла лугами; время от времени сквозь водяной туман смутно вырисовывалась мокрая ива, ветви которой свисали с беспомощностью труп. Чавкали подковы лошадей, а из-под колес летели брызги грязи.

Все молчали; самые мысли, казалось, пропитались сыростью, как и земля. Мать Жанны, откинувшись, прислонилась к стенке кареты и закрыла глаза. Барон хмуро рассматривал однообразные и залитые дождем поля. Розали, с узлом на коленях, дремала животной дремотой простолюдинов. Но Жанна чувствовала, что оживает под этой теплой струящейся влагой, словно комнатное растение, которое вынесли на воздух; полнота радости, подобно листе, защищала ее сердце от грусти. Она молчала, но ей хотелось петь, высунуть наружу руку и, набрав воды, напиться; она наслаждалась и тем, что лошади бегут крупной рысью, и тем, что она видит, как печальны окрестности, и тем, что чувствует себя защищенной от этого потопа.

Под яростным дождем от блестящих крупов лошадей поднимался пар, словно от кипящей воды.

Баронесса мало-помалу начала засыпать. Ее лицо, обрамленное шестью правильно расположенными и колыхавшимися локонами, понемногу опускалось, мягко опираясь на три больших волны ее шеи, последние складки которой терялись в безбрежном море груди. Голова ее приподнималась при каждом вздохе и тотчас же падала снова, щеки надувались, а из полуоткрытых губ вырывалось звонкое похрапывание. Муж наклонился к ней и тихонько вложил ей в руки, скрещенные на полном животе, маленький кожаный бумажник.

Это прикосновение разбудило ее; она взглянула на бумажник затуманенным взором, с отупением человека, сон которого внезапно прервали. Бумажник упал и раскрылся. Золото и банковые билеты рассыпались по полу кареты. Баронесса совсем проснулась, а веселое настроение дочери проявилось во взрыве хохота.

Барон подобрал деньги и положил их жене на колени:

– Вот, мой друг, все, что осталось от моей фермы в Эльто. Я продал ее, чтобы восстановить «Тополя», где мы теперь будем жить подолгу.

Она сосчитала деньги – шесть тысяч четыреста франков – и спокойно положила в карман.

Это была уже девятая проданная ферма из тридцати одной, оставленной им родителями. Однако они еще обладали приблизительно двадцатью тысячами годового дохода с земель, которые при хорошем управлении могли бы легко приносить в год и тридцать тысяч.

Они жили скромно, и этого дохода было бы достаточно, не будь в доме бездонной пропасти, вечно разверстой: их доброты. Из-за нее деньги испарялись в их руках, как испаряется вода в болоте под палящими лучами солнца. Деньги текли, бежали, исчезали. Как это происходило? Никто не знал. Каждую минуту кто-нибудь из них говорил:

– Не знаю, как это вышло, но я истратил сегодня сто франков, а не сделал ни одной крупной покупки.

Легкость, с которой они раздавали деньги, была, впрочем, одной из величайших радостей их жизни, и тут они прекрасно и трогательно понимали друг друга.

Жанна спросила:

– А красив теперь мой замок?

Барон весело ответил:

– Увидишь, дочурка.

Мало-помалу ярость ливня стихала, и вскоре от него осталось лишь нечто вроде тумана – тончайшая сеющаяся дождевая пыль. Облачный свод как бы приподнялся, побелел, и вдруг сквозь какую-то невидимую щель длинный косой луч солнца упал на луга.

Тучи разошлись, показалась синяя глубина небосвода, потом просвет увеличился, как в разрывающейся завесе, и прекрасное лазурное небо, чистое и глубокое, развернулось над землей.

Пролетел свежий и легкий ветерок, словно счастливый вздох земли; когда проезжали мимо садов или лесов, слышалось порою веселое пение птицы, сушившей свои перья.

Вечерело. Теперь в карете все спали, кроме Жанны. Два раза останавливались на постоянных дворах, чтобы дать передохнуть лошадям, покормить их овсом и напоить.

Солнце село; вдали зазвонили колокола. В какой-то деревушке зажглись фонари; небо также засветилось бесчисленными звездами. То там, то здесь появлялись освещенные дома, пронизывающие мрак огненными точками; и вдруг за косогором, сквозь ветви сосен, показалась луна, огромная, красная и словно оцепеневшая от сонливости.

Было так тепло, что окна кареты оставались опущенными. Жанна, истомленная мечтами и пресытившаяся счастливыми видениями, теперь отдыхала. Чувствуя онемение от долгого пребывания в одной и той же позе, она время от времени открывала глаза, смотрела в окно и различала в светлой ночи бегущие мимо деревья, фермы или нескольких коров, лежавших там и сям в поле и подымавших головы. Она старалась найти другую позу и пробовала снова поймать нить прерванных грез, но непрерывный стук экипажа наполнял ей уши, утомлял ее мысль, и она вновь закрывала глаза, чувствуя, что ее ум так же устал, как и тело.

Наконец остановились. У дворец кареты стояли мужчины и женщины с фонарями в руках. Приехали. Жанна, сразу проснувшись, проворно выскочила из экипажа. Отец и Розали, которым светил один из фермеров, почти вынесли баронессу, совершенно разбитую, жалобно стонавшую и без конца твердившую еле слышным, умирающим голосом:

– Ах, боже мой! Ах, дети мои!

Она не захотела ни пить, ни есть, легла в постель и тут же заснула.

Жанна и барон ужинали вдвоем.

Они переглядывались и улыбались, брали друг друга через стол за руки, а потом, полные детской радости, вместе принялись за осмотр заново отделанного дома.

Это было одно из высоких и обширных нормандских зданий, нечто среднее между фермой и замком, одно из зданий, построенных из белого камня, сделавшегося серым, и настолько просторных, что в них могло вместиться целое племя.

Очень обширная прихожая делила дом пополам, пересекая его насквозь; высокие двери вели из нее на обе его стороны. Двойная лестница, казалось, перешагивала через этот вход, оставляя середину прихожей пустою и соединяя во втором этаже оба своих подъема наподобие моста.

В нижнем этаже, направо, входили в огромную гостиную, обтянутую штофом с изображением птиц среди листвы. Вся мебель, обитая вышитой крестиком материей, представляла собою иллюстрации к басням Лафонтена; Жанна затрепетала от радости при виде стула, который любила еще ребенком и на котором были изображены Лисица и Журавль.

Рядом с гостиной были расположены библиотека со старинными книгами и две комнаты, не имевшие определенного назначения; налево от входа были столовая с новой деревянной обшивкой, бельевая, буфетная, кухня и небольшое помещение, в котором находилась ванна.

Все пространство второго этажа пересекал коридор. Десять дверей из десяти комнат тянулись одна за другой. В самой глубине, направо, была комната Жанны. Они вошли туда. Барон только что отделал ее заново, использовав обивку и мебель, валявшиеся на чердаке без употребления.

Старинные фламандские ткани населяли эту комнату причудливыми фигурами.

Увидев свою кровать, девушка вскрикнула от радости. По четырем углам четыре большие птицы, выточенные из дуба, черные и блестящие от воска, поддерживали ложе и казались его хранителями. С боков находились две широкие гирлянды резных цветов и фруктов; четыре колонки с тонкими желобками, увенчанные коринфскими капителями, поддерживали карниз из роз и амуров.

Кровать высилась величественно, но была в то же время легка и изящна, несмотря на мрачный вид дерева, потемневшего от времени.

Одеяло и полог кровати сверкали, как два небосвода. Они были сделаны из старинного темно-синего шелка, по которому, точно звезды, были разбросаны крупные цветы лилии, вышитые золотом.

Налюбовавшись вдоволь кроватью, Жанна подняла свечу и стала рассматривать обивку стен, стремясь понять содержание рисунков.

Молодой вельможа и молодая дама, одетые в необыкновеннейшие костюмы зеленого, красного и желтого цвета, беседовали под голубым деревом, на котором зрели белые плоды. Большой кролик, тоже белый, пощипывал серую траву.

Прямо над этими фигурами, в условной перспективе, виднелись пять круглых домиков с остроконечными крышами, а вверху, почти на небе, – красная ветряная мельница.

Все это было заткано крупными разводами, изображавшими цветы.

Два других панно были очень похожи на первое; только на них из домиков выходили четыре человека, одетые по-фламандски, и простирали к небу руки в знак крайнего изумления и гнева.

Последнее же панно изображало драму. Неподалеку от кролика, который все еще продолжал щипать траву, был распростерт молодой человек, казавшийся мертвым. Молодая дама, глядя на него, пронзала себе грудь шпагой, а плоды на дереве сделались черными.

Жанна уже отказалась было понять все это, как вдруг обнаружила в углу микроскопического зверька, которого кролик, будь он живой, мог бы проглотить, как травинку. А между тем это был лев.

Тогда она узнала злключения Пирама и Тисбы, и хотя улыбнулась наивности рисунков, все же почувствовала себя счастливой, что ей придется быть лицом к лицу с этой любовной историей, которая будет постоянно твердить ей о дорогих надеждах, и что каждую ночь во время сна над ней будет витать эта любовь античного мифа.

Остальная мебель представляла собой собрание самых различных стилей. Это была обстановка, которая остается в семье от каждого поколения и превращает старинные дома во что-то вроде музеев, где смешивается решительно все. По бокам великолепного, окованного блестящими медными украшениями комода в стиле Людовика XIV стояли два кресла в стиле Людовика XV, еще хранившие свою прежнюю шелковую обивку с букетами цветов. Секретер розового дерева стоял против камина, на котором под круглым колпаком красовались часы в стиле ампира.

То был бронзовый улей, висевший на четырех мраморных колонках над садом из золоченых цветов. Тоненький маятник, спускавшийся из улья через длинную щель, непрестанно покачивал над этим цветником крохотную пчелку с эмалевыми крылышками.

С одной стороны улья был вделан циферблат из расписного фаянса.

Часы пробили одиннадцать. Барон поцеловал дочь и ушел к себе.

Тогда Жанна с чувством сожаления улеглась в постель.

В последний раз окинула она взглядом свою комнату и потушила свечу. Но с левой стороны кровати, прислоненной к стене только изголовьем, было окно, через которое проникал поток лунного света, разливавшийся по полу прозрачной лужицей.

Бледные отблески отражались на стенах, слабо лаская любовь неподвижных Пирама и Тисбы.

В другое окно, приходившееся против ног кровати, Жанна видела высокое дерево, залитое кротким сиянием. Она повернулась на бок и сомкнула глаза, но через некоторое время снова открыла их.

Ей чудилось, что ее все еще подбрасывают толчки экипажа, стук которого продолжал звучать в ее ушах. Она пробовала лежать неподвижно, надеясь, что спокойная поза позволит ей наконец заснуть; но волнение, которым был объят *ее* ум, передалось вскоре и *ее* телу.

У нее сводило ноги, лихорадка усиливалась. Тогда она встала и, босиком, с голыми руками, в длинной рубашке, придававшей ей вид призрака, перешагнула через лужу света, разлитую на полу, отворила окно и выглянула наружу.

Ночь была так светла, что все было видно, как днем, девушка узнавала места, которые она любила еще в раннем детстве.

Против нее и всего ближе к ней расстился широкий газон, который при ночном освещении казался желтым, как масло. Два гигантских дерева возвышались перед замком по обеим сторонам его – платан на севере, липа на юге.

Небольшая роща, расположенная на самом краю лужайки, окаймляла это имение, защищенное от морских бурь пятью рядами вековых вязов, искривленных, ободранных, растерзанных, верхушки которых были срезаны наклонно, как скат крыши, вечно бушевавшим морским ветром.

Это подобие парка было ограничено справа и слева двумя длинными аллеями громадных тополей, отделявшими господский замок от двух соседних ферм, в одной из которых жила семья Кульяров, а в другой – Мартены.

От этих тополей и получил свое имя замок. За пределами этого огороженного места расстилалась обширная неводеланная равнина, поросшая диким терновником, где ветер выл и метался день и ночь. Дальше берег сразу обрывался кручей в сто метров высоты, отвесной и белой, купавшей свое подножие в волнах.

Жанна смотрела вдаль, на безбрежную, волнистую водную гладь, которая, казалось, дремала под звездами.

В эти часы отдохновения природы после захода солнца в воздухе разливались все запахи земли. Жасмин, обвивавший окна нижнего этажа, непрестанно струил свой резкий аромат, который смешивался с более легким благоуханием распускавшихся листьев. Медленные дуновения ветра приносили крепкий запах соленого воздуха и липкие испарения морских водорослей.

Девушка, сияющая от счастья, полной грудью вдыхала воздух, и деревенская тишина успокаивала ее, как свежая ванна.

Все животные, просыпающиеся с наступлением вечера и таящие свою безвестную жизнь в тиши ночей, наполняли полутьму безмолвным оживлением. Огромные птицы беззвучно парили в воздухе, как пятна, как тени; жужжание невидимых насекомых едва касалось уха; по росистой траве и по песку пустынных дорог мчались немые погони.

Лишь несколько меланхолических жаб посылали к луне свой короткий и однообразный стон.

Жанне казалось, что сердце ее расширяется, что оно полно неясных звуков, как и этот светлый вечер, что оно вдруг закишело тысячью бродяжнических желаний, как у тех ночных животных, чей шорох ее окружал. Что-то роднило ее с этой живой поэзией; и в мягкой белизне ночи она ощущала нечеловеческий трепет, биение едва уловимых надежд, что-то похожее на дуновение счастья.

И она стала мечтать о любви.

Любовь! Уже два года, как ее приближение наполняло Жанну возраставшею тоскою. Теперь она может любить; теперь ей остается только встретить Его!

Каков он будет? Она не представляла себе этого в точности и даже не спрашивала себя. Это будет Он – вот и все.

Она знала только, что будет обожать его всей душой и что он будет любить ее также всем своим существом. В такие вечера, как этот, они будут гулять под пепельным светом звезд. Они пойдут рука об руку, прижавшись друг к другу, ощущая биение своих сердец, чувствуя теплоту плеч, сплетая свою любовь с нежной ясностью летних ночей, и станут такими близкими, что смогут легко, одной силой своей любви, проникать в самые сокровенные мысли друг друга.

И это будет длиться бесконечно в безмятежности невыразимой любви.

Ей показалось вдруг, что она уже ощущает его здесь, возле себя; смутный трепет чувственности внезапно пробежал по ее телу с головы до ног. Она прижала к груди руки бессознательным движением, словно обнимая свою мечту; на губах, протянутых к неизвестному, она ощутила нечто, заставившее ее почти лишиться чувств, словно дыхание весны запечатлело на них поцелуй любви.

Вдруг она услышала, что кто-то идет там, в ночи, по дороге, позади замка. И в безумном порыве, охваченная страстной верой в невозможное, в чудесные случайности, в божественные предчувствия и романтические пути судьбы, она подумала: «А что, если это он?» Она боязливо прислушивалась к мерным шагам прохожего и была уверена, что он сейчас остановится у решетки и попросит приюта.

Когда он прошел, она почувствовала грусть, точно от разочарования. Но она поняла безрассудство своих надежд и улыбнулась своему безумию.

И вот, несколько успокоившись, она отдалась более разумным мечтаниям, стараясь проникнуть в будущее, строя планы жизни.

Она заживет с ним здесь, в этом тихом замке, над морем. У нее, конечно, будет двое детей – сын для него, а дочь для нее. И она уже видела, как дети бегают по траве между платаном и липой, а отец и мать восхищенно следят за ними, обмениваясь друг с другом над их головами взором, полным страсти.

И долго-долго еще грезилося ей, в то время как луна, заканчивая свой путь по небу, собиралась погрузиться в море. Воздух начал свежеть. Горизонт на востоке бледнел. Пропел петух на ферме справа; другие откликнулись с фермы слева. Их охрипшие голоса, казалось, доносились откуда-то очень издалека сквозь стенки курятника; на громадном своде небес, незаметно побелевшем, стали исчезать звезды.

Где-то раздался птичий крик. В листве слышалось щебетание, сначала робкое; затем оно стало более смелым, переливчатым, радостным и переходило с ветки на ветку, с дерева на дерево.

Вдруг Жанна почувствовала себя залитою светом и, подняв лицо, которое она закрывала руками, зажмурилась, ослепленная блеском зари.

Гора пурпуровых облаков, частью заслоненных старою аллеей тополей, бросала кровавые отблески на пробужденную землю.

И медленно, разрывая сверкающие тучи, обрызгивая огнем деревья, долины, океан, весь горизонт, показался громадный пламенеющий шар.

Жанна почувствовала себя обезумевшей от счастья. Восторженная радость, бесконечное умиление перед величием природы переполнили ее замиравшее сердце. То было *ее* солнце! Ее заря! Начало *ее* жизни! Восход *ее* надежд! Она протянула руки к лучезарному пространству, как бы желая обнять солнце; ей хотелось громко крикнуть что-то вдохновенно-прекрасное, достойное рождения этого дня, но она оставалась недвижимой в бессильном экстазе. Затем, положив голову на руки, она почувствовала, что глаза ее полны слез, и сладко заплакала.

Когда она снова подняла голову, величественная панорама рождающегося дня уже исчезла. Она чувствовала себя умиротворенной, немного усталой и словно озябшей. Не закрывая окна, она легла в постель, вытянулась, помечтала еще несколько минут и заснула так крепко, что не слыхала, как в восемь часов ее позвал отец, и проснулась, только когда он вошел в комнату.

Он хотел показать ей отделку замка – *ее* замка.

Фасад, выходявший внутрь усадьбы, был отделен от дороги широким двором, обсаженным яблонями. Эта проселочная дорога, бежавшая вдоль крестьянских изгородей, соединялась в полулье отсюда с большой дорогой, которая вела из Гавра в Фекан.

От опушки леса к крыльцу шла прямая аллея. Службы, низкие строения из прибрежного камня, крытые соломой, тянулись в ряд по обеим сторонам двора вдоль рвов, отделяющих их от обеих ферм.

Кровля дома была обновлена, вся деревянная отделка восстановлена, стены отремонтированы, комнаты обиты обоями, все внутри вновь окрашено. Новые ставни серебристо-белого цвета и свежая штукатурка сероватого фасада выделялись, как пятна на старинном потемневшем здании.

Другая сторона дома, куда выходило одно из окон Жанны, была обращена к морю, которое виднелось поверх рощи и стены вязов, изглоданных ветром.

Жанна и барон, взявшись под руку, обошли все, не пропустив ни одного уголка; затем они медленно прогулялись по длинным аллеям тополей, окружавшим так называемый парк. Трава уже появилась под деревьями и расстилалась зеленым ковром. Рощица поистине была очаровательна, и ее извилистые дорожки, разделенные изгородями листвы, перекрещивались друг с другом. Внезапно выскочил заяц, испугавший девушку, прыгнул с откоса и удрал в морские тростники, к скалистому обрыву.

После завтрака, ввиду того что г-жа Аделаида еще чувствовала слабость и объявила, что желает отдохнуть, барон предложил Жанне пройтись до Ипора.

Они пустились в путь и миновали сначала деревушку Этуван, прилегавшую к «Тополям». Трое крестьян поклонились им, словно знали их давным-давно.

Затем они углубились в лес, спускавшийся к морю по склону извилистой долины.

Вскоре показалась деревня Ипор. Женщины, чинившие тряпье, сидя на пороге своих жилищ, смотрели им вслед. Покатая улица, с канавой посредине, с кучами отбросов у дверей домов, издавала сильный запах рассола. Темные сети, в которых там и сям виднелись застрявшие блестящие чешуйки, похожие на серебряные монетки, просушивались у дверей лачуг, откуда несся запах жилья скученной в одной комнате большой семьи.

Несколько голубей прогуливались вдоль канавы, отыскивая себе пропитание.

Жанна осматривалась кругом, и все это казалось ей новым и занимательным, как театральная декорация.

Но вдруг, обогнув какую-то стену, она увидела море, темно-синее и гладкое, уходившее вдаль насколько мог видеть глаз.

Они остановились вблизи пляжа и стали смотреть. Паруса, белые, как крылья птиц, плыли по морскому простору. Справа и слева поднимались громадные скалы. С одной стороны нечто вроде мыса преграждало взгляд, а по другую сторону линия берега уходила в бесконечную даль, пока не превращалась в неуловимый штрих.

В одном из ближайших разрывов этой линии виднелись гавань и домики; мелкие волны, образуя пенистую бахрому моря, с легким шумом прокатывались по гальке.

Лодки местных жителей, вытасенные на откос, усеянный галькой, отдыхали на боку, подставляя солнцу свои круглые щеки, блестящие смолой. Несколько рыбаков готовили их к вечернему приливу.

Подошел матрос, предложивший рыбу, и Жанна купила камбалу, которую ей хотелось самой отнести в «Тополя».

Он предложил также свои услуги для прогулок по морю, повторив несколько раз кряду свое имя, чтобы оно лучше осталось в памяти:

– Лястик, Жозефен Лястик.

Барон обещал не забыть его.

Пошли обратно в замок.

Огромная рыба утомляла Жанну, она продела ей сквозь жабры отцовскую палку, концы которой оба они взяли в руки; болтая, словно дети, они весело поднимались по берегу, с сияющими глазами, обвеваемые ветром, а камбала, все более и более оттягивавшая им руки, тащилась жирным брюхом по траве.

II

Для Жанны началась очаровательная, свободная жизнь. Она читала, мечтала и бродила в полном одиночестве по окрестностям. Медленно шагая, блуждала она по дорогам, вся погружившись в мечты, или же вприпрыжку сбегала в извилистые лощинки, оба склона которых были покрыты, словно золотой ризой, руном цветов дикого терновника. Их острый и сладкий запах, особенно сильный в жару, опьянял ее, как ароматное вино, а отдаленный шум волн прибоя, катившихся по пляжу, убаюкивал ее мысли.

Порою, от ощущения какой-то слабости, она ложилась на густую траву, а когда иной раз на повороте лощинки она вдруг замечала в воронке зелени треугольник сверкавшего на солнце голубого моря с парусом на горизонте, ее охватывала необузданная радость, словно от таинственного приближения счастья, реявшего над ней. На лоне этой ласковой и свежей природы, среди спокойных, мягких линий горизонта ее обуяла любовь к одиночеству, и она так подолгу сживала на вершине холмов, что маленькие дикие кролики принимались прыгать у ее ног.

Подгоняемая легким прибрежным ветром, она часто пускалась карабкаться по скалам и вся трепетала от того изысканного наслаждения, что могла двигаться без усталости, как рыбы в воде или ласточки в воздухе.

И как бросают в землю зерна, так она всюду сеяла воспоминания, те воспоминания, корни которых сохраняются до самой смерти. Ей казалось, что в каждый изгиб этих лощинок она бросает частицу своего сердца.

Она с увлечением принялась купаться. Сильная и смелая, Жанна не боялась опасности и уплывала так далеко, что скрывалась из виду. Она превосходно чувствовала себя в холодной прозрачной и голубой воде, которая покачивала ее на волнах. Отплыв от берега, она ложилась на спину, скрещивая на груди руки и устремив взор в глубокую лазурь неба, которую прорезывал быстрый полет ласточки или белый силуэт морской птицы. Кругом не слышалось никакого шума, кроме отдаленного рокота валов, катившихся по гальке, да смутного гула с земли, еще скользящего над поверхностью волн, но неопределенного и почти неуловимого. Затем Жанна переворачивалась и в безумном порыве радости звонко кричала, хлопая по воде руками.

Несколько раз, когда она отваживалась уплывать слишком уж далеко, за ней посылали лодку.

Она возвращалась в замок, побледнев от голода, легкая, резвая, с улыбкой на устах, а глаза ее были полны счастья.

Барон же задумывал большие земледельческие предприятия: он собирался делать опыты, поднять производительность, испробовать новые орудия, акклиматизировать иноземные породы скота; он проводил часть дня в разговорах с крестьянами, которые покачивали головой, относясь недоверчиво к его замыслам.

Часто он отправлялся в море с ипорскими матросами. Когда все гроты, водопады и вершины гор в окрестности были осмотрены, он захотел заняться рыбной ловлей, как простой рыбак.

В ветреные дни, когда сильно надувшийся парус мчит по гребню волн пузатый кузов лодки и когда с каждой ее стороны тянется до самого дна длинная убегающая леса, преследуемая стаями макрели, он держал в дрожащих от волнения руках тонкую веревку, которая тотчас же дергалась, когда попавшаяся на крючок рыба начинала биться.

При свете луны он выезжал снимать расставленные накануне сети. Он любил слышать скрип мачты, любил вдыхать свистящие свежие порывы ночного ветра и, после долгих скитаний в поисках бакенов, находя дорогу по гребню скалы, крыше колокольни или маяку Фекана, испытывал наслаждение, неподвижно сидя под первыми лучами восходящего солнца, от кото-

рого сверкали на дне лодки клейкая спина широких веерообразных скатов и жирное брюхо палтуса.

Всякий раз за обедом он с восторгом рассказывал о своих прогулках, а матушка сообщала ему, сколько раз она прошла по широкой аллее тополей, по аллее направо, выходявшей к ферме Кульяров, потому что в другой аллее было мало солнца.

Так как ей рекомендовали двигаться, она упорно гуляла. Едва лишь рассеивалась ночная свежесть, она спускалась, опираясь на руку Розали, укутавшись в плащ и две большие шали и надев на голову черный капор, повязанный сверху красным платком.

И вот, волоча левую ногу, которая была тяжелее и оставляла следы по всей дороге – один туда, другой обратно – в виде двух пыльных борозд с вытоптанной травой, она начинала бесконечное странствование по прямой линии от угла замка до первых кустов роши. На каждом конце этой дорожки она велела поставить по скамье и, останавливаясь через каждые пять минут, говорила бедной терпеливой служанке, поддерживавшей ее:

– Присядем-ка, милая, я немного устала.

И при каждой остановке она оставляла на скамье то вязаный платок, который покрывал ей голову, то одну шаль, то другую, то капор, то плащ; из всего этого на обоих концах аллеи образовывались две большие кучи одежды, которые Розали уносила на свободной руке, когда возвращались к завтраку.

После полудня баронесса возобновляла прогулку, но уже более расслабленной походкой, с более длительными передышками; иногда она даже спала часок-другой на шезлонге, который выкатывали для нее из дома.

Она называла это: «мои упражнения», так же, как говорила: «моя гипертрофия».

Один доктор, к которому она десять лет тому назад обратилась за советом, потому что страдала удушьем, сказал, что у нее гипертрофия сердца. С тех пор это слово, смысл которого ей был не совсем понятен, засело в ее голове. Она настойчиво заставляла барона, Жанну и Розали выслушивать свое сердце, услышать которое никто не мог, до того глубоко было оно погребено под толщей ее груди; но она решительно отказывалась подвергнуться осмотру нового врача из боязни, чтобы он не открыл в ней еще других болезней; она говорила о «своей» гипертрофии при каждом случае и так часто, словно этот недуг был свойствен только ей одной, принадлежал ей как единственная в своем роде вещь, на которую никто больше не имел никакого права.

Барон говорил: «гипертрофия моей жены», а Жанна: «мамина гипертрофия», как ска-зали бы: «платье», «шляпа» или «зонтик».

В молодости она была очень хорошенькая и тонкая как тростинка. Провальсировав некоторое время в объятиях всех мундиров Империи, она прочла «Коринну», которая заставила ее плакать, и этот роман оставил на ней своеобразный отпечаток.

По мере того как грузнел ее стан, порывы ее души становились все поэтичнее, а когда непомерная тучность приковала ее к креслу, мысль ее уносилась к нежным приключениям, героиней которых она воображала себя. У нее были свои излюбленные истории, к которым она часто возвращалась в мечтах, подобно тому, как заведенная шарманка бесконечно повторяет одну и ту же арию. Все томные романсы, в которых говорится о пленницах и ласточках, неизменно увлажняли ее ресницы; она любила даже некоторые гривуазные песенки Беранже из-за тех сожалений о минувшем, которые в них высказаны.

Часто она оставалась неподвижной по целым часам, уйдя в мечты; пребывание в «Тополях» ей бесконечно нравилось, так как давало декорацию для ее воображаемых романов: леса, пустынная ланда и близость моря напоминали ей романы Вальтера Скотта, которые она читала уже несколько месяцев.

В дождливые дни она не выходила из своей комнаты и пересматривала то, что называла своими «реликвиями». Это были старые письма, переписка ее родителей, письма барона, когда она была его невестой, и еще другие.

Она хранила их в секретере красного дерева с медными сфинксами по углам и говорила с особенной интонацией:

– Розали, деточка, принеси мне ящик воспоминаний.

Молоденькая служанка отпирала секретер, вынимала ящик и ставила его на стул возле госпожи, которая принималась медленно, одно за другим читать эти письма, время от времени роняя на них слезу.

Иногда Жанна заменяла Розали и гуляла с мамочкой, которая рассказывала ей воспоминания своего детства. В этих историях из далекого прошлого девушка узнавала себя, удивляясь сходству их мыслей и родству желаний; ведь каждое сердце воображает, что оно впервые бьется под наплывом тех ощущений, которые заставляли уже биться сердца первых людей и заставят еще трепетать сердца последних мужчин и последних женщин.

Их медленные шаги соответствовали медлительности рассказа, изредка на несколько секунд прерываемого одышкой; тогда мысль Жанны, минуя начатые приключения, уносилась в будущее, населенное радостями, и отдавалась надеждам.

Однажды после полудня, отдыхая на скамье, они заметили вдруг на другом конце аллеи толстого священника, который шел к ним.

Он раскланялся издали, улыбаясь, а когда был уже в трех шагах от них, снова поклонился и воскликнул:

– Ну, баронесса, как мы поживаем?

Это был местный кюре.

Матушка родилась в век философов и была воспитана в дни Революции отцом, равнодушно относившимся к вере, она почти не бывала в церкви, хотя любила священников в силу какого-то религиозного инстинкта, свойственного женщинам.

Баронесса совершенно забыла аббата Пико, своего кюре, и при виде его покраснела. Она извинилась, что не возобновила знакомства первая. Но старик не казался обиженным: он взглянул на Жанну, сделал комплимент ее цветущему виду, уселся, положил треуголку на колени и отер лоб. Он был очень толст, очень красен, и пот лил с него ручьями. Ежеминутно вытаскивал он из кармана громадный клетчатый платок, пропитанный потом, и проводил им по лицу и по шее; но не успевал влажный платок скрыться в недрах его черной одежды, как новые капли опять выступали на коже и, падая на сутану, вздувшуюся на животе, отмечали круглыми пятнышками приставшую дорожную пыль.

То был настоящий деревенский священник, веселый, терпимый, болтливый и добродушный. Он рассказал несколько историй, поговорил о местных жителях и сделал вид, будто не заметил, что его две прихожанки еще не удосужились посетить службу: причину этого была лень, недостаток веры баронессы и слишком большая радость Жанны, избавившейся от монастыря, где ее чересчур пресытили благочестивыми обрядами.

Появился барон. Он придерживался пантеистических воззрений и был совершенно равнодушен к религиозной догме. Он любезно отнесся к аббату, с которым был слегка знаком, и оставил его обедать.

Священник умел нравиться благодаря той бессознательной хитрости, которая развивается от постоянного общения с человеческими душами даже у самых посредственных натур, призванных стечением обстоятельств властвовать над себе подобными.

Баронесса была с ним ласкова, и, быть может, ее влекло к нему родство, сближающее сходные натуры: ей, тучной и прерывисто дышащей, нравились красное лицо и одышка толстяка.

Во время десерта он одушевился, как и полагалось подвыпившему за пирушкой кюре, и приобрел непринужденность, свойственную концу веселых обедов.

И вдруг он воскликнул, точно осененный счастливой идеей:

– А ведь у меня есть новый прихожанин, которого надо вам представить, – виконт де Лямар!

Баронесса, знавшая как свои пять пальцев весь провинциальный гербовник, спросила:

– Он не из семьи де Лямар де л'Эр?

Священник поклонился:

– Да, мадам; он сын виконта Жана де Лямара, умершего в прошлом году.

Г-жа Аделаида, любившая дворянство больше всего на свете, засыпала священника вопросами и узнала, что после уплаты отцовских долгов и по продаже фамильного замка молодой человек обосновался на одной из трех ферм, которыми он владел в коммуне Этуван. Эти владения приносили всего-навсего от пяти до шести тысяч ливров дохода, но виконт, человек благоразумный и экономный, рассчитывал скромно прожить два-три года в этом простом убежище и скопить немного денег, чтобы получить возможность бывать в свете и выгодно жениться, не делая долгов и не закладывая своих ферм.

Кюре прибавил:

– Это очаровательный молодой человек; такой порядочный, такой тихий. Но не слишком-то ему весело в деревне.

– Так приводите его к нам, господин аббат, – сказал барон, – время от времени это сможет его развлечь.

И заговорили о другом.

Когда после кофе все перешли в гостиную, священник попросил позволения пройти по саду, так как привык совершать легкий моцион после еды. Барон сопровождал его. Они медленно прогуливались взад и вперед вдоль белого фасада замка. Их тени, одна худая, другая шарообразная, с грибом на голове, тянулись то спереди, то сзади них, смотря по тому, шли ли они лицом к луне или поворачивались к ней спиной. Кюре посасывал что-то вроде папироски, которую достал из кармана. Он объяснил *ее* назначение с откровенностью деревенского жителя:

– Это чтобы вызвать отрыжку, а то у меня довольно скверное пищеварение.

Затем вдруг, взглянув на небо, по которому совершало свой путь ясное светило, он произнес:

– Вот зрелище, на которое никогда не наскучит смотреть.

И вернулся попрощаться с дамами.

III

Из деликатной почтительности к своему кюре баронесса и Жанна отправились на мессу в следующее воскресенье.

Они подождали его после службы, чтобы пригласить в четверг к завтраку. Он вышел из ризницы с высоким элегантным молодым человеком, который дружески держал его под руку. Заметив женщин, священник с приятным изумлением воскликнул:

– Как это кстати! Прошу у вас позволения, баронесса и мадемуазель Жанна, представить вам вашего соседа, виконта де Лямара.

Виконт поклонился, сказал, что он уже давно мечтает об этом знакомстве, и завязал разговор с легкостью бывалого и благовоспитанного человека. У него была та счастливая внешность, о которой грезят женщины, но которая противна любому мужчине. Черные выющиеся волосы обрамляли гладкий смуглый лоб; большие, правильные, точно искусственно выведенные брови придавали глубину и нежность его темным глазам, белки которых казались слегка голубоватыми.

Благодаря густым и длинным ресницам его взгляд приобретал ту страстную выразительность, которая вызывает волнение в высокомерной салонной красавице и заставляет оборачиваться на улице девушку в чепце, которая несет корзину.

Томная прелесть его взгляда заставляла верить в глубину его мысли и придавала значительность самым ничтожным его словам.

Густая борода, блестящая и выхоленная, скрывала чересчур развитую нижнюю челюсть. Обменявшись любезностями, они расстались.

Два дня спустя г-н де Лямар сделал первый визит.

Он появился как раз в ту минуту, когда осматривали садовую скамейку, поставленную в это утро под платаном, против окон зала. Барон хотел поставить еще другую напротив, под липой, но матушка, враг симметрии, не желала этого. Виконт, мнение которого пожелали узнать, согласился с баронессой.

Затем он заговорил об этом крае и находил его очень «живописным», так как во время своих одиноких прогулок встречал много очаровательных «уголков». Время от времени его глаза, словно нечаянно, встречались с глазами Жанны, и она испытывала странное ощущение от этого внезапного, быстрого взгляда, в котором светились ласковое восхищение и пробуждающаяся симпатия.

Г-н де Лямар-отец, умерший год тому назад, был знаком с близким другом г-на де Кюльто, мамочкиного отца; открытие этого знакомства дало повод для бесконечной беседы о браках, датах и родственных отношениях. Баронесса обнаруживала чудеса памяти, устанавливая восходящие и нисходящие линии других семей и прогуливаясь без малейшего затруднения по сложному лабиринту генеалогии.

– Скажите, виконт, вы не слыхали о семье Сонуа де Варфлёр? Их старший сын, Гонтран, женился на мадемуазель де Курсиль, из рода Курсиль-Курвиль, а младший – на одной из моих кузин, мадемуазель де Ля Рош-Обер, доводившейся родственницей Кризанжам. Ну, так вот господин де Кризанж был близким другом моего отца и, следовательно, должен был знать вашего отца.

– Да, мадам. Ведь это тот самый господин де Кризанж, который эмигрировал и сын которого разорился?

– Он самый. Он сделал предложение моей тетке после смерти ее мужа, графа д'Эретри; но она не согласилась выйти за него, потому что он нюхал табак. Не знаете ли вы, кстати, что случилось с Вилузами? Около 1813 года, вскоре после своего разорения, они покинули Турень, чтобы обосноваться в Оверни, и с тех пор я о них ничего больше не слыхала.

– Насколько я помню, мадам, старый маркиз умер от падения с лошади; одна его дочь замужем за каким-то англичанином, а другая за неким Бассолем, коммерсантом, – как говорили, богатым, который ее обольстил.

Всплывали имена, знакомые и сохранившиеся в памяти с детства из разговоров старых родственников. Браки в этих семьях, одинаково родовитых, принимали в умах собеседников значение крупных общественных событий. Они говорили о людях, которых никогда не видали, словно о хороших знакомых, а те люди, жившие в других краях, говорили о них так же; все они издали чувствовали себя близкими, почти друзьями, даже родственниками, благодаря только тому обстоятельству, что принадлежали к одному классу, к одной касте, к одной и той же благородной крови.

Барон, порядочный дикарь от природы и вдобавок получивший воспитание, не имевшее ничего общего с верованиями и предрассудками людей его круга, почти не знал окрестных дворянских семей и спросил о них виконта.

– О, в наших местах живет мало знати, – отвечал г-н де Лямар таким тоном, словно заявлял, что на склонах холмов водится мало кроликов. И он сообщил подробности. Всего три семьи жили в более или менее близком соседстве: маркиз де Кутелье, нечто вроде главы нормандской аристократии; виконт де Бризвиль с супругой, люди безупречного рода, но державшиеся особняком; наконец, граф де Фурвиль, какое-то пугало: по слухам, он доводил свою жену до отчаяния, слыл завзятым охотником; они жили в своем замке де ла Врильет, выстро-енном на берегу пруда.

Несколько выскочек, пролезших в их общество, купили себе кое-где по соседству поместья. Но виконт не водил с ними знакомства.

Наконец он попрощался, и его последний взгляд был обращен к Жанне, словно он посы-лал ей особое, более сердечное и нежное *прости*.

Баронесса нашла его очаровательным, а главное – вполне светским человеком. Отец отве-чал:

– Да, конечно, молодой человек прекрасно воспитан.

Его пригласили на следующей неделе к обеду. С тех пор он стал бывать постоянно.

Всего чаще он приезжал к четырем часам дня, присоединялся к мамочке в «ее аллее» и предлагал ей руку, чтобы помочь ей «совершать моцион». Когда Жанна бывала дома, она поддерживала баронессу с другой стороны, и все трое медленно и непрестанно прохаживались взад и вперед по прямой аллее из конца в конец. Он совсем не разговаривал с Жанной. Но его глаза, казавшиеся бархатно-черными, часто встречались с *ее* глазами, похожими на голубой агат.

Несколько раз молодые люди отправлялись в Ипор с бароном.

Однажды вечером, когда они были на пляже, к ним подошел дядя Лястик; не выпуская изо рта трубки, отсутствие которой изумило бы всех, может быть, даже больше, чем исчезно-вание его носа, он промолвил:

– По такому ветру, господин барон, одно удовольствие было бы завтра утром проехаться в Этрета и обратно.

Жанна сложила руки:

– О, папа, согласись!

Барон обернулся к г-ну де Лямар:

– Что вы думаете об этом, виконт? Мы могли бы поехать туда завтракать.

И прогулка была тотчас же решена.

С зарей Жанна была на ногах. Ей пришлось подождать отца, который одевался не так проворно; они отправились по росе и пересекли сначала поле, а потом лес, весь звеневший птичьими голосами. Виконт и дядя Лястик сидели на кабестане.

Два других моряка помогали им при отъезде. Мужчины, упираясь плечами в борта лодки, толкали ее изо всех сил. Она с трудом подвигалась по гладкой поверхности, усеянной галькой. Лястик подкладывал под киль деревянные катки, смазанные салом, потом, становясь на свое место, протяжно выводил бесконечное: «Оге-гоп!» – для согласования общих усилий.

Но когда добрались до склона, лодка двинулась сразу и скользнула по круглым камням с треском разрываемого холста. Она остановилась вблизи пены, образуемой мелкими волнами; все заняли места на скамьях; затем два матроса, оставшиеся на берегу, спустили лодку на воду.

Легкий и непрестанный ветер с открытого моря касался поверхности воды и рябил ее. Парус был поднят, слегка надулся, и лодка спокойно поплыла, чуть покачиваясь на волнах.

Сначала удалились от берега. Небо, нисходя на горизонте, сливалось с океаном. Со стороны земли высокая отвесная скала отбрасывала длинную тень у своего подножия, а ее склоны, поросшие травой, местами были ярко освещены солнцем. Там, позади, из-за белого мола Фекана виднелись темные паруса, а впереди поднималась скала необыкновенного вида, круглая и со сквозным отверстием; она напоминала собою фигуру громадного слона, погрузившего хобот в волны. То были малые ворота Этрета.

Жанна, у которой от качки слегка кружилась голова, глядела вдаль, держась руками за борт лодки, и ей казалось, что во всем мире существует только три истинно прекрасных вещи: свет, простор и вода.

Никто не говорил. Дядя Лястик, управляя рулем и шкотом, время от времени потягивал из бутылки, спрятанной под его скамьей, и без устали курил огрызок трубки, казавшейся неугасимой. Из нее постоянно выходила тонкая струйка синего дыма, между тем как другая такая же струя сочилась из угла его рта. Никто и никогда не видел, чтобы матрос набивал табак или разжигал эту свою глиняную печурку, которая была чернее черного дерева. Иногда он вынимал ее изо рта, сплевывая в море тем самым углом губ, из которого выходил дым, длинную струю темной слюны.

Барон сидел впереди и следил за парусами, заменяя матроса. Жанна и виконт помещались рядом, оба немного смущенные. Неведомая сила заставляла встречаться их глаза, поднимавшиеся одновременно, словно по приказу какой-то родственной воли; между ними уже возникала та тонкая и неопределенная нежность, которая быстро образуется между молодыми людьми, когда юноша не безобразен, а девушка красива. Они чувствовали себя счастливыми друг возле друга, потому, быть может, что думали один о другом.

Солнце поднималось словно для того, чтобы полюбоваться с высоты огромным морем, которое раскинулось внизу и, как бы кокетничая, подернулось легкой дымкой и закрылось от его лучей. Это был прозрачный, низко нависший золотистый туман, который не скрывал ничего, но смягчал даль. Солнце метало свои лучи, растопляя ими это блестящее облако, и когда оно поднялось во всей силе, мгла рассеялась, исчезла, а море, гладкое, как зеркало, заблестало в сиянии дня.

Взволнованная Жанна прошептала:

– Как красиво!

Виконт ответил:

– О да, очень красиво!

Ясная прозрачность этого утра словно пробуждала эхо в их сердцах.

Вдруг показалась большая аркада Этрета, похожая на две ноги громадной скалы, шагающие по морю и настолько высокие, чтобы служить аркой для кораблей; верх белой острокопечной скалы возвышался перед нею.

Причалили; пока барон, сошедши первым, удерживал лодку у берега, притягивая ее к себе за веревку, виконт взял на руки Жанну, чтобы перенести ее на землю, не дав ей замочить ног; затем они стали рядом на твердую, покрытую галькой отмель, еще взволнованные минутным объятием, и вдруг услышали, как дядя Лястик говорил барону:

– Вот была бы хорошая парочка.

Завтрак в маленькой гостинице, вблизи пляжа, был восхитителен. Океан, заглушая голоса и мысли, делал всех молчаливыми; но после завтрака они стали болтать, словно школьники на каникулах.

Самые простые вещи бесконечно веселили их.

Дядюшка Лястик, садясь за стол, бережно спрятал в свой берет еще дымившуюся трубку; все засмеялись. Муха, привлеченная, без сомнения, его красным носом, несколько раз усаживалась на него; когда он сгонял ее взмахом руки, слишком неповоротливой, чтобы поймать насекомое, муха перелетала на кисейную занавеску, уже засиженную множеством ее сородичей, и, по-видимому, жадно сторожила румяный нос матроса, потому что немного погодя садилась на него снова.

При каждом полете насекомого раздавался неистовый хохот, а когда старик, которому надоело это щекотание, проворчал: «Она таки чертовски упряма», – Жанна и виконт уже чуть не плакали от смеха, извиваясь, задыхаясь, зажимая салфетками рот, чтобы не кричать.

Когда кончили кофе, Жанна сказала:

– Хорошо бы пройтись.

Виконт встал, но барон предпочел понежиться под солнцем на камушках.

– Ступайте, дети; через час я буду здесь.

Они миновали по прямой линии ряд домиков и, пройдя мимо маленького замка, походившего скорее на большую ферму, вышли в открытое поле, расстилавшееся перед ними.

Морская качка обессилила их, нарушив привычное равновесие; резкий соленый воздух возбуждал аппетит, завтрак опьянил, а веселье разволновало. Они были теперь в несколько взбалмошном настроении, и им хотелось, ни о чем не думая, бегать по полям. У Жанны шумело в ушах: она была возбуждена новыми нахлынувшими на нее ощущениями.

Палящее солнце изливало на них свои лучи. По обе стороны дороги клонились к земле спелые хлеба, поникшие от жары. Бесчисленные, как стебли трав, неумолчно заливались кузнечики, и повсюду – в хлебах, в овсе, в морских тростниках раздавался их сухой и оглушительный треск.

Никаких других звуков не было слышно под раскаленным небом, сверкающая лазурь которого отсвечивала желтизной, точно собираясь внезапно покраснеть, подобно металлу, брошенному в огонь.

Заметив вдали, направо, лесок, они пошли к нему.

Под высокими, непроницаемыми для солнца деревьями вилась узкая аллея, стиснутая двумя откосами. При входе в нее на них пахло свежестью плесени, той сыростью, которая вызывает ощущение озноба и проникает в легкие. Трава здесь давно исчезла, так как ей не хватало света и воздуха; почву прикрывал только мох.

Они пошли вперед.

– Здесь мы можем немного посидеть, – сказала она.

В этом месте стояли два старых сухих дерева, и, пользуясь просветом в листве, сюда падал поток света, согревая землю, пробуждая к жизни семена травы, одуванчиков и повилики, помогая распуститься маленьким белым цветочкам, нежным, как пыльца, и наперстянке, похожей на пряжу. Бабочки, пчелы, приземистые шершни, огромные комары, походившие на скелеты мух, тысячи летающих насекомых, розоватые, с пятнышками, божьи коровки, бронзовые жучки с зелеными отливами или черные рогачи населяли этот светлый и жаркий колодец, вырытый в холодном сумраке густой листвы.

Они уселись; их головы были в тени, а ноги на солнце. Они смотрели на всю эту кишашую ничтожно-мелкую жизнь, вызванную на свет всего одним солнечным лучом; растроганная Жанна повторяла:

– Как чудесно! Как хорошо в деревне! Бывают минуты, когда я хотела бы быть мухой или бабочкой, чтобы спрятаться в цветах.

Они рассказывали друг другу о себе, о своих привычках, вкусах тем пониженным, задушевым тоном, каким делаются признания. Он говорил, что чувствует отвращение к свету и устал от его пустой жизни; там всегда одно и то же; никогда не встретишь ничего правдивого, ничего искреннего.

Свет! Ей очень хотелось бы узнать, что это такое; но она была убеждена заранее, что он не стоит деревни.

Чем больше сближались их сердца, чем чаще они церемонно называли друг друга «мосье» и «мадемуазель», тем больше улыбались друг другу, сливались их взгляды; им казалось, что в них проникает какое-то новое чувство доброты, какая-то бьющая через край симпатия и интерес к тысяче мелочей, о которых они никогда не заботились.

Они вернулись; но барон отправился пешком до «Девичьей комнаты» – грота, находящегося на гребне скалы, и они стали поджидать его в гостинице.

Он явился только к пяти часам вечера, после долгой прогулки по берегу моря.

Снова сели в лодку. Она неслышно отплывала по ветру, без малейшей качки, как будто вовсе не двигаясь. Ветер набегал тихими и теплыми дуновениями, которые на секунду надували парус, бессильно падавший затем вдоль мачты. Непроницаемая водная гладь казалась мертвой; солнце, истощив весь свой жар и завершая круг, тихо приближалось к морю.

Дремота моря снова заставила всех притихнуть.

Наконец Жанна сказала:

– Как бы хотелось мне путешествовать!

Виконт возразил:

– Да, но путешествовать одной грустно, надо быть по меньшей мере вдвоем, чтобы было с кем делиться впечатлениями.

Она задумалась.

– Это правда... однако я люблю гулять в одиночестве... так хорошо мечтать одной...

Он поглядел на нее долгим взглядом:

– Можно мечтать и вдвоем.

Она опустила глаза. Был ли это намек? Может быть. Она внимательно рассматривала горизонт, словно желая заглянуть еще дальше, а затем медленно произнесла:

– Я бы хотела поехать в Италию... и в Грецию... о да, в Грецию... и на Корсику!.. Это, должно быть, так дико и так прекрасно!

Он предпочитал Швейцарию – за ее горные хижины и озера.

Она говорила:

– Нет, я люблю совсем новые страны, как Корсика, или уж очень старые, полные воспоминаний о прошлом, как Греция. Так приятно отыскивать следы народов, историю которых мы знаем с детства, и видеть места, где происходили великие события.

Виконт, менее восторженный, объявил:

– А меня сильно привлекает Англия: это чрезвычайно поучительная страна.

И тут они перебрали всю вселенную, обсуждая прелести каждой страны, от полюса до экватора, восхищаясь воображаемыми пейзажами и необычными нравами некоторых народов, вроде китайцев или лапландцев, но в конце концов все же пришли к заключению, что лучшей страной в мире является Франция, благодаря ее умеренному климату, прохладному лету и мягкой зиме, ее роскошным полям, зеленым лесам, большим спокойным рекам и благодаря тому культу искусства, которого больше не существовало нигде со времен великого века Афин.

Затем они смолкли.

Солнце, спустившись ниже, казалось кровавым; широкий светлый след, ослепительная дорога бежала по воде от края океана до струи за кормой лодки.

Последние дуновения ветра замерли, рябь исчезла, и неподвижный парус стал багровым. Пространство, казалось, оцепенело в беспредельном покое, словно стихнув при виде этой встречи двух стихий; выгибая под небом свое сверкавшее текучее лоно, море, как гигантская возлюбленная, ожидало огненного любовника, опускавшегося к ней. Он ускорял свое падение, рдея пурпуром, как бы в жажде объятий. Наконец он соединился с ней, и мало-помалу она его поглотила.

Тогда с горизонта повеяло свежестью; легкий трепет тронул подвижное водное лоно, точно поглощенное светило посылало миру вздох успокоения.

Сумерки были коротки, быстро распростерлась ночь, усеянная звездами. Дядя Лястик взялся за весла, и тут заметили, что море засветилось фосфорическим светом. Жанна и виконт, сидя рядом, смотрели на этот мерцающий свет, который лодка оставляла позади себя. Они почти ни о чем больше не думали, отдавшись рассеянному созерцанию, вдыхая тишину вечера в блаженном удовлетворении. Рука Жанны опиралась о скамейку, и палец соседа как бы случайно коснулся ее пальцев; она не смела двинуться, изумленная, счастливая и смущенная этим легким прикосновением.

Войдя вечером в свою комнату, она почувствовала себя странно взволнованной и настолько растроганной, что все вызывало в ней желание плакать. Взглянув на часы, она подумала, что пчелка бьется, как сердце, как сердце друга, что она будет свидетелем всей ее жизни, что все радости и горести ее будут сопровождаться этим проворным и размеренным тиканьем; и она остановила золотую пчелку, чтобы поцеловать ее крылышки. Она готова была расцеловать весь мир. Ей вспомнилось, что в глубине одного из ящиков комода спрятана ее старая кукла; она отыскала ее, обрадовалась, словно вновь обрела обожаемого друга, и, прижимая игрушку к груди, осыпала жаркими поцелуями ее крашенные щечки и взбитые кудри.

И, не выпуская ее из рук, задумалась.

Неужели это *он*, супруг, обещанный ей тысячью тайных голосов, ниспосланный на ее пути всеблагим провидением? Не то ли он существо, созданное для нее, которому она посвятит всю свою жизнь? Не те ли они избранники, нежность которых должна соединить их друг с другом, слить неразрывно и породить *любовь*?

Она вовсе еще не ощущала тех бурных порывов всего существа, тех безумных восторгов, тех величайших подъемов, которые считала присущими страсти; но ей казалось все-таки, что она начинает любить его, потому что порою она вся замирала, думая о нем, – а думала она о нем постоянно. Его присутствие волновало ей сердце: она то краснела, то бледнела, встречая его взгляд, замирала в трепете, услышав его голос.

Она очень мало спала в эту ночь.

С этих пор волнующее желание любви захватывало ее изо дня в день все более и более. Она постоянно спрашивала себя об этом, гадала по полевым маргариткам, облакам, монеткам, подброшенным кверху.

Однажды вечером отец сказал ей:

– Принарядись завтра получше.

Она спросила:

– Зачем, папа?

Он ответил:

– Секрет.

На следующее утро, когда она сошла вниз, сияя свежестью, в светлом платье, то увидела на столе в гостиной коробки с конфетами, на стуле громадный букет.

Во двор въехала повозка. На ней была надпись: «Лера, кондитер в Фекане. Свадебные обеды». Людивина с помощью поваренка вытаскивала сквозь открытые задние дверцы тележки большие плоские корзины, от которых шел приятный запах.

Явился виконт де Лямар. На нем были брюки в обтяжку и изящные лакированные сапоги, облегавшие его маленькую ногу. Вырез на груди длинного сюртука, стянутого в талии, открывал кружево жабо. Изящный галстук, несколько раз обернутый вокруг шеи, заставлял его высоко и с оттенком благовоспитанной серьезности держать свою прекрасную темноволосую голову. У него был другой вид, чем обычно, тот особый вид, который парадная одежда неожиданно придает даже хорошо знакомым лицам. Жанна смотрела на него в изумлении, точно никогда его не видала; она находила его совершенным джентльменом, вельможей с головы до ног.

Он с улыбкой поклонился:

– Итак, кума, вы готовы?

Она пролепетала:

– В чем дело? Что случилось?

– Сейчас узнаешь, – сказал барон.

Подъехала запряженная коляска; г-жа Аделаида спустилась из своей комнаты в парадном платье, поддерживаемая Розали, которая, казалось, была так поражена изяществом г-на де Лямара, что отец сказал вполголоса:

– Знаете, виконт, вы, кажется, прищипли по вкусу нашей служанке.

Он покраснел до ушей, сделал вид, что не слышит, и, схватив большой букет, поднес его Жанне. Она взяла его, недоумевая все больше и больше. Они уселись вчетвером в коляску, и кухарка Людивина, принеся баронессе для подкрепления холодный бульон, сказала:

– Право, госпожа, подумаешь, что свадьба.

Доехав до Ипора, они пошли пешком, и, пока проходили по деревне, матросы в новых куртках, на которых еще были видны складки, появлялись из своих домиков, кланялись, жали барону руку и присоединялись к ним, словно следуя за процессией.

Виконт предложил Жанне руку и шел с ней впереди.

Подойдя к церкви, все остановились; появился большой серебряный крест, который нес мальчик из хора, стараясь держать его прямо; за ним шел другой мальчик, в красной с белым одежде, держа в руках сосуд со святой водой и кропилом.

Затем вышли трое старых певчих, один из которых хромал, за ним музыкант с серпентом и, наконец, кюре в золотой, скрецающейся вверху епитрахили, вздувавшейся над его огромным животом. Он поздоровался улыбкой и кивком; затем, полузакрыв глаза, молитвенно зашевелил губами и, надвинув свою шапочку на самый нос, проследовал к морю со своим штабом, облаченным в стихари.

На пляже ожидала толпа, собравшаяся вокруг новой лодки, увитой гирляндами цветов. Ее мачта, парус и снасти были убраны длинными лентами, развевающимися по ветру, а на корме золотыми буквами было выведено название: «Жанна».

Дядя Лястик, хозяин лодки, построенной на средства барона, двинулся навстречу шествию. Все мужчины одновременно обнажили головы, а ряд богомолок в широких черных платках, ниспадавших на плечи крупными складками, опустил полукругом на колени при виде креста.

Кюре с двумя мальчиками по бокам прошел к одному концу лодки, а у другого конца трое старых певчих в белой одежде, но неопрятных и небритых, устремив глаза в сборник церковных песен, торжественно зафальшивили во всю глотку в ясном утреннем воздухе.

Каждый раз, когда они переводили дыхание, только тот, что играл на серпенте, продолжал свой рев, причем его серые глазки совсем исчезали между раздувавшихся щек. Он так надсаживался, что, казалось, кожа у него на шее и даже на лбу отставала от мяса.

Неподвижное, прозрачное море как будто тоже сосредоточенно участвовало в крещении лодки и лишь медленно катило мелкие волны с легким шумом грабель, скребущих по камням. Большие белые чайки, расправив крылья, пролетали, описывали кривую линию в голубом небе,

удалялись и снова возвращались плавным полетом над коленопреклоненной толпой, словно желая посмотреть, что такое здесь происходит.

Но вот после «аминь», которое завывали в течение пяти минут, пение закончилось, и священник глухим голосом прокудахтал несколько латинских слов, где можно было различить лишь звучные окончания.

Затем он медленно обошел вокруг лодки, кропя ее святой водой, потом снова забормотал молитвы, остановившись у борта лодки напротив крестного отца и крестной матери, которые стояли неподвижно, держась за руки.

Красивое лицо молодого человека было по-прежнему торжественно, но девушка, задыхаясь от внезапного волнения, почти теряя сознание, стала так дрожать, что зубы ее стучали. Мечта, которая преследовала ее неотвязно с некоторого времени, вдруг, точно в какой-то галлюцинации, начинала приобретать видимость реального. Говорили о свадьбе, присутствовал дававший благословение священник, люди в стихарях гнусавили молитвы; уж не ее ли это венчают?

Трепетали ли в нервной дрожи ее пальцы? Передалось ли по ее жилам сердцу соседа то наваждение, под властью которого находилось ее сердце? Понял ли он, угадал ли, был ли так же, как она, охвачен опьянением любви? Или же он уже по опыту знал, что ни одна женщина не устоит перед ним? Она заметила вдруг, что он сжимает ее руку, сначала легко, потом все сильнее, сильнее, чуть не ломая ее. И, не меняясь в лице, так что никто ничего не заметил, он сказал, да, конечно, он сказал ей очень отчетливо:

– О, Жанна, если бы вы захотели, это было бы нашим обручением!

Она опустила голову замедленным движением, которое могло означать «да». Священник, все еще кропивший святой водой, брызнул им на пальцы несколько капель.

Церемония окончилась. Женщины поднялись. Возвращались в беспорядке. Крест, который нес мальчик из хора, утратил величавость; он двигался быстро, качаясь вправо и влево, то наклоняясь вперед, то едва не падая на несущего. Кюре, больше уже не молившийся, торопливо бежал сзади; певчие и музыкант с серпентом исчезли в каком-то переулке, чтобы поскорее переодеться, а матросы спешили, разбившись на группы. Одна и та же мысль, наполнявшая их головы как бы ароматом кухни, удлиняла их шаг, возбуждала аппетит и проникала до самого живота, вызывая в кишках целые рулады.

В «Тополях» их ожидал хороший завтрак.

На дворе, под яблонями, был накрыт большой стол. Шестьдесят человек уселись за ним: моряки и крестьяне. В центре сидела баронесса с двумя кюре по сторонам – из Ипора и из «Тополей». Барон, напротив нее, был зажат между мэром и его женой, сухопарой, уже пожилой деревенской жительницей, рассылавшей во все стороны множество поклонов. У нее было узкое лицо, стиснутое громадным нормандским чепцом, – настоящая голова курицы с белым хохлом и совершенно круглыми, вечно изумленными глазами; она глотала маленькими быстрыми глотками, словно клевала носом тарелку.

Жанна, рядом с крестным отцом, утопала в блаженстве. Она ничего больше не видела, ничего не понимала и сидела молча; ее голова была отуманена радостью.

Она спросила у него:

– Как ваше имя?

Он сказал:

– Жюльен. Разве вы не знали?

Она ничего не ответила, подумав: «Как часто буду я повторять это имя!»

Когда завтрак был окончен, двор предоставили матросам и перешли на другую сторону замка. Баронесса начала свой «моцион», опираясь на руку барона и в сопровождении обоих священников. Жанна и Жюльен пошли в рощу по узким, заросшим тропинкам. Вдруг он схватил ее руки:

– Скажите, хотите быть моей женой?

Она снова опустила голову; и так как он продолжал лепетать: «Отвечайте, умоляю вас!», – она медленно подняла на него глаза, и он прочел ответ в ее взгляде.

IV

Однажды утром барон вошел в комнату Жанны, когда она еще не вставала, и сказал, садясь в ногах ее кровати:

– Виконт де Лямар просит твоей руки.

Ей захотелось спрятать лицо в простыни.

Отец продолжал:

– Мы пока отложили ответ.

Она задышалась; волнение душило ее. Минуту спустя барон добавил, улыбаясь:

– Мы не хотели ничего предпринимать, не поговорив с тобой. Мы с мамой не против этого брака, но и не хотим принуждать тебя. Ты гораздо богаче его, но, когда дело идет о счастье жизни, не следует думать о деньгах. У него нет родных; если ты выйдешь за него, он войдет в нашу семью как сын, тогда как с другим тебе самой, нашей дочери, придется войти в чужую семью. Он нравится нам. Нравится ли он... тебе?

Она прошептала, покраснев до корней волос:

– Я согласна, папа.

Отец, внимательно заглянув ей в глаза и все еще смеясь, пробурчал:

– Я в этом почти не сомневался, мадемуазель.

Она жила до вечера, словно в каком-то опьянении, не сознавая, что делает, машинально брала одни предметы вместо других, и ноги ее совсем ослабели от усталости, хотя она никуда не ходила.

Около шести часов, когда она сидела с мамочкой под платаном, явился виконт.

Сердце Жанны бешено забилося. Молодой человек подходил к ним, не обнаруживая никакого волнения. Приблизившись, он взял пальцы баронессы и поцеловал их, затем приподнял дрожащую руку девушки и прильнул к ней долгим, нежным и признательным поцелуем.

Наступило радостное время помолвки. Они беседовали одни в уголках гостиной или сидя в глубине рощи, на пригорке, перед пустынной ландой. Иногда они прогуливались по мамочкиной аллее, причем он говорил о будущем, а она шла, рассматривая пыльный след от ноги баронессы.

Раз дело было решено, закончить его желали поскорее; условились, что венчание состоится через полтора месяца, 15 августа, и что молодые немедленно отправятся в свадебное путешествие. Когда Жанну спросили, куда она хочет поехать, она избрала Корсику, где можно быть в большем уединении, нежели в городах Италии.

Они ожидали дня, назначенного для свадьбы, не испытывая особого нетерпения, и чувствовали себя овеванными, убаюканными восхитительной нежностью, наслаждаясь тонким очарованием невинных ласк, рукопожатий и страстных взглядов, столь долгих, что их души, казалось, сливались в одну; неясное вождение томило их еще смутно.

Было решено никого не приглашать на свадьбу, за исключением сестры баронессы, тети Лизон, жившей пансионеркой в версальском монастыре.

После смерти отца баронесса хотела оставить сестру у себя, но старая дева, преследуемая мыслью, что она всех стесняет, что она никому не нужна и может только надоедать, удалилась в один из монастырских приютов, сдающих помещения людям, жизнь которых печальна и одинока.

Время от времени она проводила месяц или два в семье.

То была маленькая женщина, которая почти не разговаривала, всегда стушевывалась, появлялась, только когда садились за стол, а затем тотчас же уходила в свою комнату, где и оставалась все время взаперти.

Она казалась добродушной старушкой, хотя ей было всего только сорок два года; глаза у нее были добрые и печальные; в семье с ней совершенно не считались. Ребенком ее почти не ласкали, так как она не отличалась ни резвостью, ни хорошеньким личиком и смиренно, кротко сидела в углу. С тех пор она была навсегда обречена. Никто не заинтересовался ею, когда она стала девушкой.

Она была чем-то вроде тени или хорошо знакомого предмета, живой мебелью, которую привыкли видеть ежедневно, но о которой никто никогда не беспокоился.

Сестра, по привычке, усвоенной еще в родительском доме, смотрела на нее как на неудачное и совершенно незначительное существо. С ней обращались фамильярно и бесцеремонно, скрывая под этим презрительное добродушие. Ее звали Лизой, но это молодое и кокетливое имя, казалось, стесняло ее. Когда увидели, что она не выходит замуж и, без сомнения, не выйдет, Лизу превратили в Лизон. Со времени рождения Жанны она стала «тетей Лизон», скромной родственницей, чистенькой, страшно застенчивой даже в обращении с сестрой и зятем, которые, однако, ее любили, но какою-то неопределенной любовью, включавшей в себя безразличную нежность, бессознательное сострадание и инстинктивное расположение.

Иной раз, когда баронесса рассказывала об отдаленных событиях своей молодости, она говорила, чтобы отметить дату:

– Это было в год безрассудного поступка Лизон.

Больше об этом ничего не говорилось, и этот «безрассудный поступок» так и оставался в каком-то тумане.

Однажды вечером Лиза, которой было тогда двадцать лет, неизвестно почему бросилась в воду. Ничто в ее жизни и в поведении не давало повода предвидеть эту безумную выходку. Ее вытащили в полумертвом состоянии, а родные, негодуя, воздымавшие руки, вместо того, чтобы доискаться таинственной причины этого обстоятельства, удовольствовались разговорами о «безрассудном поступке» так же точно, как говорили о несчастном случае с лошадью Коко, незадолго перед тем сломавшей себе ногу в колее, вследствие чего пришлось ее прикончить.

С тех пор Лизу, а потом Лизон, стали считать как бы слабоумной. Добродушное пренебрежение, которое она внушала к себе близким, постепенно просачивалось в сердца всех ее окружавших. Даже маленькая Жанна, с присущей детям догадливостью, совсем не интересовалась ею, никогда не забиралась к ней на кровать приласкаться, никогда не прокрадывалась в ее комнату. Горничная Розали, убиравшая ее комнату, казалось, одна только и знала, где эта комната находится.

Когда тетя Лизон входила в столовую к завтраку, «малютка» по привычке подставляла ей лоб, и этим все ограничивалось.

Если кто-нибудь желал поговорить с нею, то за ней посылали лакея; когда же ее не было, ею совсем не занимались, о ней вовсе не думали, и никогда никому не пришло бы в голову побеспокоиться, задать вопрос:

– Как же это я сегодня с самого утра не видел Лизон?

Она как бы совсем не занимала места: то было одно из тех существ, которые остаются чужими даже для своих близких, как бы неведомыми им и чья смерть не оставляет в доме ни трещин, ни пустоты, одно из существ, которые не умеют занять места ни в жизни, ни в привычках, ни в любви людей, живущих рядом с ними.

Когда говорили «тетя Лизон», эти два слова не пробуждали никакой привязанности ни в чьей душе. Это было все равно что упомянуть о кофейнике или сахарнице.

Она постоянно ходила торопливыми и неслышными шажками, никогда не шумела, никогда ни за что не задевала, и, казалось, благодаря ее влиянию предметы приобретали свойство быть беззвучными. Ее руки были словно из ваты, так легко и осторожно она обращалась со всем, к чему притрагивалась.

Она приехала в середине июля, страшно взбудораженная мыслью об этой свадьбе. Она привезла кучу подарков, которые почти не обратили на себя внимания, потому что были получены от нее.

На следующий день по ее приезде никто уже не замечал, что она тут.

Она же была охвачена необычайным душевным волнением, и глаза ее не отрывались от жениха и невесты. Она с особой энергией и лихорадочной деловитостью занялась приданым, работая, как простая швея, в комнате, куда никто к ней не заглядывал.

Она ежеминутно подносила баронессе платки, самолично подрубленные ею, или салфетки, на которых она вышивала вензеля, и спрашивала:

– Хорошо ли так, Аделаида?

И матушка, небрежно взглянув, отвечала:

– Только не надрывайся слишком, бедняжка Лизон.

Как-то вечером, в конце месяца, после тягостного знойного дня взошла луна; была одна из тех светлых и теплых ночей, которые волнуют, умиляют, заставляют восторгаться и словно будят всю затаенную поэзию души. Легкое дыхание полей проникало в тихую гостиную.

Баронесса и ее муж вяло играли партию в карты в освещенном кругу, который отбрасывал на стол абажур лампы, тетя Лизон вязала, сидя возле них, а молодые люди, опершись о раму раскрытого окна, смотрели в сад, залитый лунным светом.

От липы и платана ложились тени на широкий луг, белесый и блестящий, который тянулся до самой рощи, казавшейся совсем черной.

Неотразимо завороченная нежной прелестью этой ночи, туманного освещения деревьев и зелени, Жанна обернулась к родителям:

– Папа, мы пойдем погуляем по траве перед замком.

Барон ответил, не отрывая взгляда от карт:

– Ступайте, дети!

И продолжал игру.

Они вышли и стали медленно ходить по большой белой лужайке до леска в глубине.

Время шло, а они не думали возвращаться. Утомленная баронесса собралась идти к себе.

– Надо позвать влюбленных, – сказала она.

Барон окинул взглядом огромный освещенный сад, где тихонько бродили две тени.

– Оставь их, – ответил он, – там так хорошо! Лизон подождет их; не правда ли, Лизон?

Старая дева подняла испуганные глаза и робко сказала:

– Конечно, подожду.

Отец помог баронессе подняться и, чувствуя утомление от дневной жары, сказал:

– Я тоже лягу.

И ушел вместе с женой.

Тогда тетя Лизон встала и, оставив на ручке кресла начатую работу, шерсть и большую спицу, облокотилась на подоконник, любясь чарующей ночью.

Жених и невеста без конца прохаживались по лужайке от рощи к крыльцу и обратно. Они сжимали друг другу руки и молчали, словно отрешившись от самих себя и целиком сливаясь со всею той поэзией, которой дышала земля.

Вдруг Жанна заметила в четырехугольнике окна силуэт старой девы, обрисованный светом лампы.

– Взгляните, – сказала она, – тетя Лизон смотрит на нас.

Виконт поднял голову и повторил безразличным тоном, каким говорят не думая:

– Да, тетя Лизон смотрит на нас.

И они продолжали мечтать, медленно прогуливаясь, отдавшись своей любви.

Но траву покрывала роса, и от ее свежести они почувствовали легкую дрожь.

– Теперь вернемся, – сказала Жанна. И они возвратились в дом.

Когда они вошли в гостиную, тетя Лизон уже снова вязала; ее голова низко склонилась над работой, а худые пальцы немного дрожали, словно от сильной усталости.

Жанна подошла к ней.

– Уже пора спать, тетя, – сказала она.

Старая дева подняла глаза; они были красны, будто от слез. Влюбленные не обратили на это внимания, но молодой человек заметил вдруг, что тонкие ботинки Жанны совсем мокры. Охваченный беспокойством, он спросил с нежностью:

– Не озябли ли ваши милые ножки?

И вдруг тетины пальцы задрожали так сильно, что работа выпала из ее рук, а клубок шерсти далеко покатился по паркету; стремительно прикрыв лицо руками, она разразилась судорожными рыданиями.

Жених и невеста смотрели на нее в изумлении, не двигаясь с места. Жанна, страшно взволнованная, бросилась на колени и, отводя ее руки от лица, твердила:

– Что с тобой, что с тобой, тетя Лизон?

Тогда бедная женщина, согнувшись от страдания, пролепетала едва слышным от слез голосом:

– Да вот он спросил тебя... не озябли ли ва... а... а... ши милые ножки... Мне... никогда не говорили так... никогда... никогда...

Жанна, изумленная и исполненная жалости, все же почувствовала желание рассмеяться при мысли о влюбленном, расточающем нежности тете Лизон, а виконт отвернулся, чтобы скрыть улыбку.

Но тетя порывисто вскочила, оставив клубок на полу, а вязанье на кресле, и взбежала без свечи, ощупью, по темной лестнице в свою комнату.

Оставшись одни, молодые люди переглянулись: это позабавило их и умилило. Жанна прошептала:

– Бедная тетя!..

Жюльен ответил:

– Она сегодня вечером, должно быть, немного помешалась.

Они держали друг друга за руки, не решаясь расстаться, и тихо, совсем тихо, обменялись первым поцелуем у пустого кресла, только что покинутого тетей Лизон.

На другой день они уже и не помнили о слезах старой девы.

Последние две недели перед свадьбой Жанна была тиха и спокойна, словно утомившись от пережитых сладостных волнений.

У нее не было времени для раздумья и в самое утро решающего дня. Она испытывала лишь сильное чувство пустоты во всем теле, словно вся ее плоть, вся кровь и все кости растаяли под кожей; касаясь предметов, она замечала, что пальцы ее сильно дрожат.

Она пришла в себя только перед алтарем во время обряда.

Замужем! Итак, она замужем! Последовательное чередование вещей, движений, событий, происшедших с утра, казалось ей сновидением, настоящим сновидением. Бывают минуты, когда все кажется изменившимся вокруг нас: самые жесты приобретают какое-то новое значение, даже время как будто изменяет своему обычному ходу.

Она чувствовала себя рассеянной, а главное, удивленной. Еще накануне не было никаких изменений в ее существовании, только заветная мечта ее жизни сделалась более близкой, почти осязаемой. Она заснула девушкой, а теперь уже была женщиной.

Итак, она переступила порог, казалось, таивший за собой будущее со всеми его радостями и счастьем, о котором она столько мечтала. Перед ней словно открылась дверь; ей предстояло вступить в *Ожидавшееся*.

Обряд кончился. Перешли в ризницу, почти пустую, так как приглашенных не было; затем стали выходить.

Когда они появились в дверях церкви, раздался страшный грохот, от которого новобрачная подскочила, а баронесса громко вскрикнула: то был ружейный залп, произведенный крестьянами; звуки выстрелов доносились до самых «Тополей».

Была подана закуска для семьи, для местного кюре и кюре из Ипора, для мэра и для свидетелей из числа зажиточных местных фермеров.

Затем в ожидании обеда прошлись по саду. Барон, баронесса, тетя Лизон, мэр и аббат Пико прогуливались по мамочкиной аллее, а по аллее напротив расхаживал крупными шагами другой священник, читая требник.

По ту сторону замка слышалось шумное веселье крестьян, пивших сидр под яблонями. Все местное население, разодевшееся по-праздничному, наполняло двор. Парни и девушки гонялись друг за другом.

Жанна и Жюльен прошли через рошу, поднялись по склону и в молчании стали смотреть на море. Становилось немного свежо, хотя была только середина августа; дул северный ветер, и яркое солнце холодно светило с голубого неба.

Молодые люди в поисках убежища пересекли ланду и повернули направо, желая достигнуть волнистой и заросшей лесом долины, спускающейся к Ипору. Когда они добрались до перелеска, ни малейшее дуновение не касалось их более, и они свернули с дороги на узкую тропинку, уходившую в чащу под навесом листвы. Они с трудом пробирались вперед, как вдруг Жанна почувствовала руку, тихонько обвившую ее стан.

Она молчала; сердце ее учащенно билось, дыхание захватило. Низкие ветви ласкали ей волосы, и нередко приходилось наклоняться, чтобы пройти. Она сорвала лист; под ним притаились две божьи коровки, похожие на хрупкие красные раковинки.

Немного успокоившись, она простодушно сказала:

– Смотрите, какая парочка.

Жюльен чуть коснулся губами ее уха:

– Сегодня вечером вы станете моей женой.

Хотя она и многому научилась во время своих скитаний по полям, она все же думала только о поэзии любви и поэтому была удивлена. Его женой? Да разве она уже не была ею?

Тогда он принялся осыпать быстрыми поцелуями ее висок и шею, там, где вились первые волоски. Застигнутая врасплах этими поцелуями мужчины, к которым она не привыкла, она всякий раз инстинктивно наклоняла голову в другую сторону, чтобы избежать ласки, которая, однако, приводила ее в восхищение.

Неожиданно они очутились на опушке леса. Она остановилась, смущенная тем, что они забрались в такую даль. Что о них подумают?

– Возвратимся, – сказала она.

Он отнял руку, которой держал ее за талию; повернувшись, они очутились друг против друга вплотную, так что чувствовали на лицах свое дыхание, и обменялись взглядом. Они обменялись одним из тех пристальных, острых, проникающих вглубь взглядов, в которых как бы сливаются души. Они искали друг друга в глазах и глубже – в непроницаемом, неведомом человеческого существа; они измеряли себя немим и упорным вопросом. Чем будут они друг для друга? Какова будет эта жизнь, которую они начинают вместе? Какие радости, какие счастливые минуты или разочарования готовят они друг другу в этом долгом совместном неразрывном брачном союзе? И им показалось обоим, что они видят друг друга в первый раз.

Вдруг Жюльен, положив руки на плечи жены, поцеловал ее прямо в губы таким глубоким поцелуем, какого она никогда еще не получала. Этот поцелуй наполнил все ее существо, проник в ее жилы и до самого мозга костей; она испытала такое таинственное потрясение, что растерянно оттолкнула Жюльена от себя обеими руками и чуть не упала навзничь.

– Уйдем! Уйдем! – лепетала она.

Он не отвечал, но взял ее руки и уже не выпускал их.

До самого дома они не обменялись больше ни словом. Остаток дня тянулся бесконечно. За стол сели, когда наступил вечер.

Обед был простой и довольно короткий, вопреки нормандским обычаям. Какая-то неловкость связывала гостей. Только у священников, мэра да четверых приглашенных фермеров прорывалось кое-что от той грубой веселости, которой полагается сопровождать свадьбы.

Смех, казалось, угас, и только мэр оживлял его своими словечками. Было около девяти часов; собрались пить кофе. На первом дворе под яблонями начался сельский бал. В открытое окно был виден весь праздник. Фонари, развешанные на ветвях, придавали листьям серо-зеленый оттенок. Крестьяне и крестьянки водили хоровод и горланили мотив какой-то дикой пляски, которой слабо аккомпанировали два скрипача и кларнетист, примостившиеся на кухонном столе вместо эстрады. Шумное пение крестьян иногда совсем заглушало звук инструментов; слабая музыка, прерываемая неистовыми голосами, казалось, падала с неба обрывками, клочками рассеянных нот.

Два больших бочонка, окруженных пылающими факелами, утоляли жажду толпы. Две служанки были заняты тем, что неустанно полоскали в ушате стаканы и чашки и подставляли их, еще мокрые от воды, под краны, откуда текла или красная струя вина, или золотая струя прозрачного сидра. И разгоряченные танцоры, спокойные старики, вспотевшие девушки – все толкались, протягивали руки, чтобы схватить какую-либо посудину и, запрокинув голову, выпить крупными глотками тот напиток, который они предпочитали.

На одном столе лежали хлеб, масло, сыр, колбаса. Каждый время от времени проглатывал кусок. И этот здоровый, бурный праздник под сводом освещенных листьев пробуждал в угрюмых гостях зала желание так же танцевать и пить из утробы этих больших бочек, закусывая ломтем хлеба с маслом и головкой лука.

Мэр, отбивавший такт ножом, воскликнул:

– Черт возьми! Вот весело, прямо как на свадьбе Ганаша.

Пробежал сдержанный смешок. Но аббат Пико, прирожденный враг светской власти, возразил:

– Вы, вероятно, хотели сказать: как на свадьбе в Кане?

Но мэр стоял на своем:

– Нет, господин кюре, я знаю, что говорю; если я сказал Ганаш, так значит, Ганаш.

Все встали и перешли в гостиную. Затем отправились побродить немного среди подвыпившего простонародья. Потом гости разошлись.

Барон и баронесса говорили о чем-то, понизив голос, и как будто ссорились. Г-жа Аделаида, задыхаясь больше, чем когда-либо, видимо, отказывала в какой-то просьбе мужу; наконец она произнесла почти вслух:

– Нет, друг мой, не могу; я не знаю, как и взяться за это.

Тогда отец быстро отошел от нее и приблизился к Жанне:

– Не желаешь ли пройтись со мной, дочурка?

Она взволнованно ответила:

– Как хочешь, папа.

Они вышли.

Когда они очутились за дверью, со стороны моря их охватил резкий ветер. Один из тех холодных летних ветров, в котором уже чувствуется осень.

По небу неслись облака, заволакивая и вновь открывая звезды.

Барон прижимал к себе руку девушки и нежно поглаживал ей пальцы. Так они шли несколько минут. Барон, казалось, был в нерешительности и смущении. Наконец он заговорил:

– Крошка моя, я приступаю к трудной задаче, которая должна была бы достаться на долю твоей матери, но из-за ее отказа мне приходится заменить ее в этом деле. Я не знаю, насколько ты осведомлена в житейских делах. Существуют тайны, которые старательно скрывают от

детей, от дочерей, особенно от дочерей, так как они должны остаться чистыми помыслом, безупречно чистыми до того часа, когда мы передадим их в руки человека, который возьмет на себя заботу об их счастье. Этому-то человеку и надлежит приподнять завесу, сброшенную на сладкую тайну жизни. Но девушки, если в них до той поры не пробудилось никакого подозрения, бывают часто возмущены той немного грубой реальностью, которая скрывается за мечтами. Раненные душевно, раненные даже телесно, они отказывают супругу в том, что закон, человеческий закон и закон природы, предоставляет ему в качестве его абсолютного права. Больше этого я не могу тебе сказать, дорогая, но не забывай только одного, что ты целиком принадлежишь мужу.

Но что, в самом деле, могла она знать? О чем могла догадываться? Она задрожала под гнетом тяжелой и мучительной печали и словно какого-то предчувствия. Они вернулись. Неожданная сцена остановила их в дверях гостиной. Баронесса рыдала на груди Жюльена. Ее всхлипывания – шумные всхлипывания, словно выпускаемые кузнечными мехами, – казались, вырывались у нее сразу из носа, изо рта и из глаз; смущенный молодой человек неловко поддерживал толстую женщину, которая билась в его объятиях, препоручая ему свою дорогую девочку, свою крошку, свою обожаемую дочурку.

Барон кинулся на помощь:

– О, пожалуйста, без сцен, без чувствительности, прошу вас.

И, подхватив жену, он усадил ее в кресло, пока она вытирала себе лицо.

Потом он обернулся к Жанне:

– Ну, малютка, поцелуй скорее мать и ступай ложиться.

Готовая также расплакаться, она стремительно поцеловала родителей и убежала.

Тетя Лизон уже ушла к себе. Барон и его жена остались наедине с Жюльеном. Все трое были так смущены, что не находили слов; мужчины во фраках, стоя, растерянно глядели перед собой, а баронесса подавленно сидела в кресле; последние рыдания еще душили ее. Общее замешательство становилось нестерпимым, и барон заговорил о путешествии, которое молодые должны были предпринять через несколько дней.

Жанна в своей комнате предоставила раздевать себя Розали, плакавшей в три ручья. Руки служанки двигались наугад, не находили ни завязок, ни булавок, и она казалась взволнованной, право, гораздо более своей госпожи. Но Жанна не замечала слез служанки; ей казалось, что она перешла в другой мир, перенеслась на другую планету и оторвана от всего, что знала, от всего, что было ей дорого. В ее жизни, в ее сознании как будто произошел полный переворот; ей даже пришла в голову странная мысль: любит ли она своего мужа? Теперь вдруг он представился ей совершенно чужим человеком, которого она почти не знает. Три месяца тому назад она и не ведала о его существовании, а теперь стала его женой. Как это случилось? Зачем так скоро выходить замуж, словно бросаясь в пропасть, открывшуюся под ногами?

Окончив ночной туалет, она скользнула в постель; прохладные простыни, вызвавшие в ней дрожь, еще усилили ощущение холода, одиночества и грусти, которое уже два часа тяготило ее.

Розали скрылась, продолжая всхлипывать; Жанна ждала. Тоскливо, со стесненным сердцем ждала она того, чего хорошенько не знала, но что угадывала и о чем в неопределенных словах сообщил ей отец, – страшного откровения великой тайны любви.

Три раза легко стукнули в дверь, хотя она и не слышала шагов по лестнице. Она страшно задрожала и не ответила. Постучали снова, затем заскрежетал замок. Она спряталась с головой под одеяло, словно к ней проник вор. По паркету тихонько проскрипели ботинки, и вдруг кто-то коснулся ее постели.

Она нервно вздрогнула и слабо вскрикнула: высвободив голову, она увидела Жюльена, стоявшего перед ней и смотревшего на нее с улыбкой.

– О, как вы меня испугали! – сказала она.

Он спросил:

– Так вы меня совсем не ждали?

Она не ответила. Он был во фраке, и его красивое лицо, как всегда, было серьезно; ей стало страшно стыдно, что она лежит перед столь корректным человеком.

Они не знали, что говорить, что делать, и не смели даже взглянуть друг на друга в эту важную и решительную минуту, от которой зависело интимное счастье всей их жизни.

Он, быть может, смутно чувствовал, какую опасность представляет эта борьба, сколько гибкого самообладания, сколько лукавой нежности требуется, чтобы не оскорбить нежную чистоту и бесконечную деликатность этой души, девственной и воспитанной одними мечтами.

Он тихонько взял ее руку, поцеловал и, преклонив колена перед кроватью, как перед алтарем, прошептал голосом, легким, как дуновение:

– Будете вы меня любить?

Сразу успокоившись, она приподняла с подушки голову, покрытую, как облаком, кружевами, и улыбнулась:

– Я уже люблю вас, мой друг.

Он взял в рот маленькие тонкие пальчики жены, и благодаря этому голос его изменился, когда он сказал:

– Согласны ли вы доказать, что любите меня?

Снова заволновавшись, она отвечала, не понимая хорошенько того, что говорит, и все еще находясь под свежим воспоминанием слов отца:

– Я ваша, мой друг.

Он покрыл кисть ее руки влажными поцелуями и, медленно выпрямляясь, приближался к ее лицу, которое она пыталась снова спрятать.

Внезапно, закинув руку через постель, он обнял жену сквозь простыни, а другую руку просунул под изголовье, приподнял подушку вместе с головой и тихо-тихо спросил:

– Так вы уступите мне крошечное местечко рядом с вами?

Ей стало страшно, инстинктивно страшно, и она пролепетала:

– О, не теперь, прошу вас.

Он, казалось, был озадачен, слегка обижен и возразил тоном, по-прежнему умоляющим, но уже более резким:

– Почему же не теперь, раз мы все равно кончим этим?

Ей стало досадно на него за эти слова; но, покорная и смирившаяся, она во второй раз повторила:

– Я ваша, мой друг.

Тогда он быстро прошел в туалетную комнату, и она ясно слышала его движения, шорох снимаемой одежды, звяканье денег в кармане, падение ботинок одного за другим.

И вдруг он быстро прошел в носках и кальсонах через комнату, чтобы положить часы на камин. Затем вернулся бегом в соседнюю комнату, где возился еще некоторое время; Жанна быстро повернулась на другой бок и закрыла глаза, почувствовав, что он пришел.

Она привскочила, словно желая броситься на пол, когда по ее ноге скользнула другая нога, холодная и волосатая; закрыв лицо руками, растерявшись, готовая кричать от страха и смущения, она зарылась в самую глубь постели.

Он тотчас же схватил ее в свои объятия, хотя она и повернулась к нему спиной, и стал жадно целовать ее шею, развевавшиеся кружева чепчика и вышитый край сорочки.

Она не двигалась, застыв в ужасной тревоге, чувствуя сильную руку, которая искала ее грудь, спрятанную между локтями. Она задышалась, потрясенная этим грубым прикосновением; ее охватило сильнейшее желание спастись, бежать по дому, запрятаться куда-нибудь подальше от этого человека.

Он перестал двигаться. Она чувствовала своею спиной теплоту его тела. Тогда ее ужас стал проходить, и она вдруг подумала, что ей стоит только повернуться, чтобы поцеловать его.

Наконец терпение его как будто истощилось, и он сказал опечаленным тоном:

– Так вы не хотите стать моей женой?

Она пролепетала, все еще закрывая лицо ладонями:

– А разве я уже не жена вам?

Он отвечал с оттенком раздражения:

– Ну, милая моя, не смейтесь же надо мной.

Она была смущена его недовольным голосом и вдруг обернулась к нему, чтобы попросить прощения. Он схватил ее, яростно, как бы изголодавшись по ней, и принялся осыпать быстрыми поцелуями, жгучими поцелуями, безумными поцелуями все лицо и верхнюю часть груди, оглушая ласками. Она раскинула руки и оставалась пассивной под этим напором, не отдавая себе более отчета в том, что делается с нею, что делает он, и испытывая такое смятение мыслей, что ничего не понимала. Но вдруг острая боль пронзила ее; она застонала, извиваясь в его объятиях, пока он неистово овладевал ею.

Что произошло потом? Она совсем не помнила этого, потому что потеряла голову; ей казалось только, что он осыпает ее губы градом благодарных поцелуев. Потом, вероятно, он говорил с нею, и она, должно быть, ему отвечала. Потом он делал новые попытки, которые она отвергала с ужасом; отбиваясь, она почувствовала на его груди ту же густую шерсть, которую уже ощутила на ноге, и в испуге отодвинулась от него. Устав наконец безуспешно домогаться, он неподвижно лежал на спине.

Тогда она задумалась; отчаявшись до глубины души, разочаровавшись в опьяняющих восторгах, которые мечта рисовала ей совсем иными, разочаровавшись в упоительном ожидании, теперь разрушенном, в блаженстве, ныне разбитом, она говорила себе: «Так вот что он называет быть его женой. Вот что! Вот что!»

И она долго пролежала так, в полной безутешности, блуждая взором по обивке стен, по старинной любовной легенде, окружавшей комнату с четырех сторон.

Так как Жюльен больше не говорил и не двигался, она медленно перевела на него взгляд и увидела, что он спит! Он спал с полуоткрытым ртом, со спокойным лицом! Он спал!

Она не могла этому поверить, чувствуя себя возмущенной, еще более оскорбленной этим сном, нежели его грубостью, чувствуя, что с нею обошлись как с первой встречной. Как мог он спать в такую ночь? Значит, то, что произошло между ними, не представляло для него ничего удивительного? О, лучше бы уж ее избили, еще раз изнасиловали, замучили отвратительными ласками до потери сознания!

Опершись на локоть, склонившись к нему, она неподвижно прислушивалась к легкому свисту, вырывавшемуся из его губ и иногда походившему на храпение.

Наступил день, сначала тусклый, затем светлый, затем розовый, затем сверкающий. Жюльен открыл глаза, зевнул, потянулся, взглянул на жену, улыбнулся и спросил:

– Хорошо ли ты спала, дорогая?

Она заметила, что он говорит ей «ты», и ошеломленно ответила:

– Да. А вы?

Он сказал:

– О, прекрасно!

И, повернувшись к ней, он ее поцеловал, а затем стал спокойно разговаривать. Он развивал ей свои планы жизни, построенной на основе бережливости; это слово, повторенное им несколько раз, удивило Жанну. Она слушала мужа, не улавливая смысла слов, смотрела на него и думала о тысяче других мимолетных вещей, мелькавших, едва задевая ее сознание.

Пробило восемь часов.

– Однако надо вставать, – сказал он, – мы покажемся смешными, если долго останемся в постели.

Он встал первым. Одевшись, он любезно помог жене во всех мельчайших деталях туалета, не разрешая позвать Розали.

В ту минуту, когда они выходили из спальни, он остановил ее:

– Знаешь, наедине мы можем теперь говорить друг другу «ты», но перед родителями лучше еще подождать. Вот когда вернемся из свадебного путешествия, это будет вполне естественно.

Она вышла лишь к завтраку. И день прошел как обычно, словно ничего нового не случилось. Только в доме стало одним человеком больше.

V

Четыре дня спустя приехала берлина, которая должна была отвезти их в Марсель.

После тоски, испытанной в первую ночь, Жанна уже привыкла к близости Жюльена; к его поцелуям, к его нежным ласкам, хотя отвращение к более интимным их отношениям не уменьшилось.

Она находила его красивым, любила его и снова чувствовала себя счастливой и веселой.

Прощание было кратким и не печальным. Только баронесса казалась взволнованной; в момент отъезда экипажа она сунула в руку дочери толстый кошелек, тяжелый, как свинец.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.